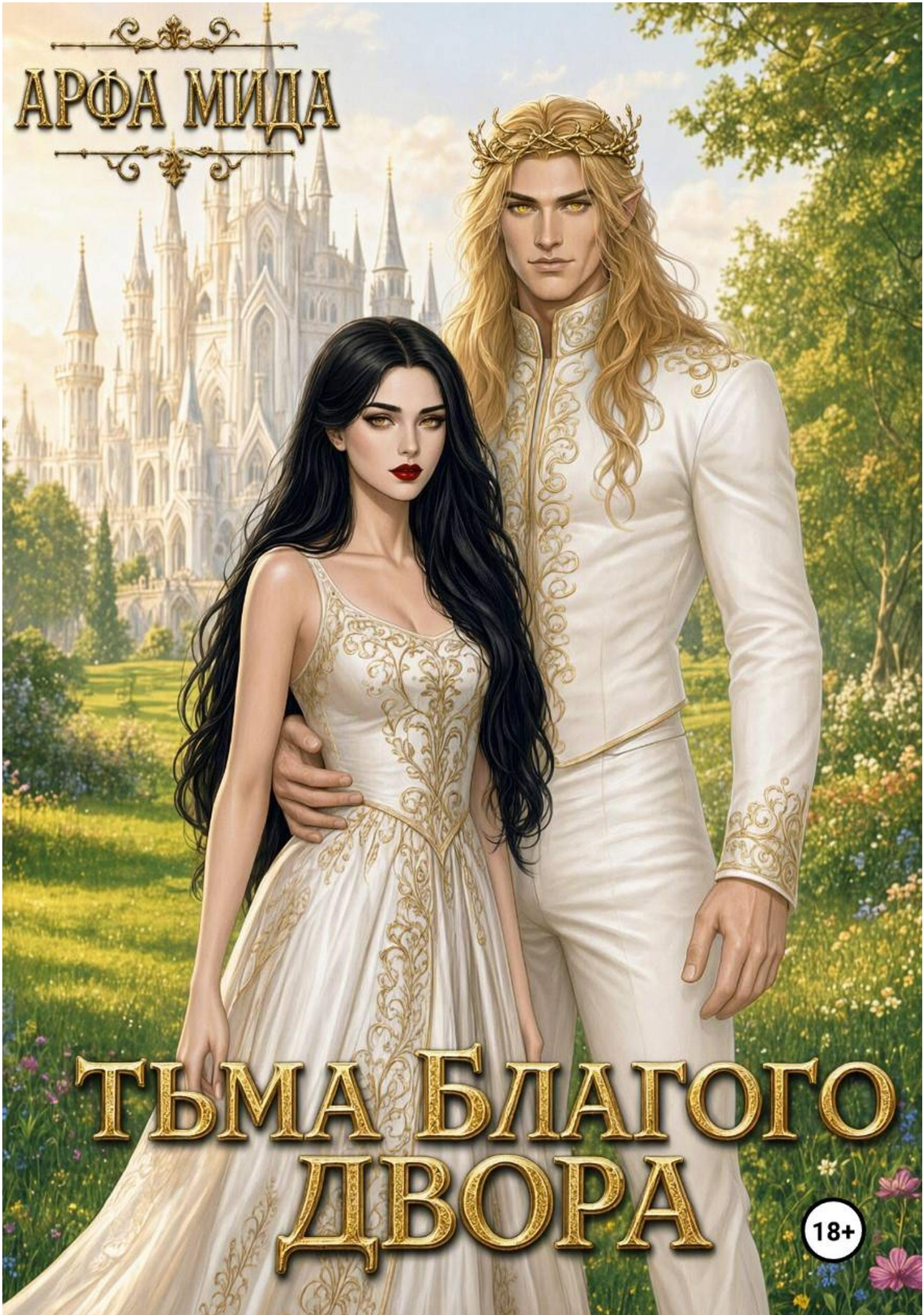

АРФА МИДА
ТЬМА БЛАГОГО ДВОРА
18+

Арфа Мида

Тьма Благого Двора

«Автор»
2026

Мида А.

Тьма Благого Двора / А. Мида — «Автор», 2026

В ночь на первое мая у Карины забирают новорождённого сына. Не люди — трое в белом с золотом, и след ведёт в Благой Двор, где фейри живут в вечном лете, а весь мир держится на одной книге: записан — значит есть, вычеркнут — значит нет.Карину вписывают в эту книгу как должницу. Теперь у неё есть строка — и нет свободы, а долг нельзя снять, его можно только перевести на другого. На того, кто согласится заплатить.Повелитель Двора, Дориан, не собирался спасать смертную: он пятьсот лет правил, не выходя из дворца, и привык, что всё имеет цену. Она не собиралась просить — она пришла требовать. И чем ближе они друг к другу, тем яснее становится, что украденный ребёнок нужен не как заложник, а как плата за чужое возвращение.Чтобы вернуть сына, Карине придётся узнать, сколько стоит строка в чужой книге и что остаётся от человека, когда у него забирают имя.

© Мида А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пустая кроватка 6
Тёмная 13
Свидетель 21
Всё за неделю 31
Кто знает 40
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Арфа Мида
Тьма Благого Двора

Тьма Благого Двора

Пустая кроватка

Я слышу капельницу раньше, чем открываю глаза.

Кап, кап, кап. Ровно, как метроном, и в этом звуке ещё нет ничего страшного. Страшное приходит потом, когда я понимаю, что лежу не так, как лежала до наркоза, и что в палате кто-то есть.

Горло сухое. Язык лежит во рту, как чужая тряпка. Живот тянет, и под повязкой всё горит и дёргает, будто там что-то забыли.

Я пробую вспомнить, как меня резали, и не могу. Помню коридор, потолок, который шёл надо мной полосами, и чей-то голос, считавший вслух: раз, два, три. Я считала вместе с ним и сбилась.

Потом помню только холод.

Холод и сейчас здесь. Не тот холод, что был до операции, не роддомовский, казённый, от сквозняка по ногам: этот идёт сбоку и такой густой, что у меня немеет щека. Я поворачиваю голову туда, и в глазах ещё мутно, всё плывёт, но я вижу.

У кроватки стоят трое.

Высокие. Выше, чем бывают люди, и в белом, таком белом, что в палате от него светло. Не халаты: что-то длинное, без единой складки, с золотом по краю. Я сначала думаю, что это врачи. Потом смотрю на лица и понимаю, что врачи так не выглядят.

Лица у них гладкие. Ни морщины, ни родинки, ни усталости, ни этой серости, с какой люди выходят из ночной смены. Одна из женщин поворачивает голову, и я вижу её уши: длинные, острые, с розовой каймой по краю.

А мужчина, тот, что стоит ко мне спиной, держит на руках свёрток.

Одеяло, угол, торчит край пелёнки. Свёрток маленький, и держит он его не так, как держат вещь: ладонь под затылком, вторая под спиной, и голова свёртка лежит у него на сгибе локтя.

— Не надо, — говорю я.

Из горла выходит хрип, но они слышат.

Женщина оборачивается ко мне и наклоняет голову чуть-чуть вбок. В её глазах нет ни зрачка, ни радужки. Сплошное серое, как река под снегом.

— Тише, — говорит она, и голос у неё мягкий, как у человека, который никуда не торопится. — Спи.

И мне становится тепло.

Тепло идёт от её голоса, от плеч, от лица, растекается по мне, как молоко по столу, и глаза у меня закрываются сами. Я борюсь, я тяну их открыть, а веки тяжёлые, и я вижу, как свёрток качается в такт шагам, и как мужчина поворачивается к двери, и как за его спиной женщина в белом поднимает руку, и...

* * *

Я просыпаюсь от боли.

Боль настоящая, тупая, внизу живота, и от неё всё встаёт на место: палата, капельница, кнопка вызова у руки. Свет за окном серый. За стеклом мокрая ветка, на ней набухли почки, а листа ещё нет: первое мая, а весна не началась. Стены, шкаф, стул с моей сумкой, календарь на две тысячи двадцать седьмой — первое мая ещё не оторвано. Кроватка.

Кроватка пустая.

Я смотрю на неё и не понимаю. Долго смотрю, наверное, целую минуту. Потом нажимаю кнопку.

Медсестра приходит быстро, молодая, с усталым лицом.

— Ну как вы? — говорит она, поправляя одеяло.

— Где ребёнок?

Она останавливается.

— В детском. — Голос у неё теперь спокойнее. — Там дети, вы же знаете, у нас так положено.

— Мне его не приносили.

— Принесут. — Она смотрит на часы. — Через час кормление, вот и принесут.

Я киваю. Я даже верю. Ритуал, часы, кормление по расписанию, всё как надо, и через час мне принесут.

Через час не приносят.

Я жму кнопку снова, и снова, и потом сажусь на кровати, потому что лежать больше не могу. Напротив, у стены, стоит шкаф, и в его дверце зеркало — узкое, во весь рост, с потёками по краю.

Я вижу себя.

Волосы слиплись и тяжёлые, тёмные, почти чёрные. Кожа белая, как бумага, вены на запястье видны насквозь: я всегда была такой, а здесь я смотрю на себя, как на чужую. Лицо в зеркале не моё: карие глаза кажутся больше, чем есть, губы припухли и горят, как искусанные, а само лицо круглое, детское, фарфоровое, как у куклы. Мне девятнадцать, и меня до сих пор спрашивают паспорт, когда я покупаю вино.

На третий раз в палату входит не медсестра.

Женщина в халате, лет шестидесяти пяти. Седая, стриженая коротко, в очках с толстыми стёклами, с папкой под мышкой. Она прикрывает за собой дверь и садится на стул рядом с кроватью, не спрашивая, можно ли.

— Карина Александровна, — говорит она. — Меня зовут Вера Павловна, я здесь заведую. Вы меня помните? Я была на операции.

Я помню только голос, считавший раз, два, три. Но киваю: сейчас не до того.

— Где мой сын?

Она кладёт папку на колени и смотрит на меня поверх очков.

— Его в роддоме нет, — говорит она. — Я сразу скажу, чтобы вы не тратили на это время.

— Вызовите полицию.

— Вызовете. — Она не спорит. — Приедет участковый, поговорит со мной, посмотрит бумаги.

— И что он там увидит?

— То, что там написано: роды, ребёнок, время. И ни строчки о том, кто его забрал.

— Почему?

— Потому что я этого не напишу. — Она снимает очки и держит их в руке, и я вижу, какие у неё красные веки. — Мне шестьдесят пять, я здесь заведую, и уходить мне некуда. Если напишу, меня уволят до утра.

— Вам некуда, — говорю я. — А мне?

— А вам обследование. — Она произносит это без нажима. — Напишут то, что пишут всегда: послеродовой психоз, острый бред.

— Вы не имеете права.

— Не имею. — Она кивает. — И всё равно не напишу. Я подпишу правду: роды, ребёнок, время. Дело заведут, поищут и через месяц закроют, потому что искать им негде и некого.

— Пусть закроют.

— А потом вас привезут ко мне же на осмотр. — Она смотрит на меня в упор. — И я напишу то, что обязана написать, когда мать рассказывает про троих в белом. Понимаете, Карина Александровна? Правда вам тоже не поможет. Она у вас одна, а их целый Двор.

Я смотрю на неё, и мне хочется закричать, и крик уже поднимается, но она говорит следующее, и я останавливаюсь.

— Карина Александровна. Когда вы очнулись, вы видели троих.

У меня стынет во рту.

— Вы были в наркозе, — говорит она, — но вы видели. Высокие, в белом, с золотом. Уши.

— Откуда вы...

— Я их тоже видела, — говорит Вера Павловна. — Я стояла в дверях и держала дверь, чтобы никто не вошёл.

Она говорит это спокойно, как говорят «я выпила кофе», и от этого спокойствия у меня в груди что-то обрывается и падает вниз.

— Вы их впустили?

— Их не впускают. — Она качает головой. — Их пускают внутрь себя, вот что. Один раз, когда очень хочется, и потом всю жизнь расплачиваешься.

— Я ничего не хотела.

— Вы лежали под наркозом. — Она говорит это мягче. — Вам просто не повезло оказаться в той палате.

— Почему в эту ночь?

— Потому что это их ночь. — Вера Павловна смотрит на часы на стене. — В году две ночи, когда у них открыто. Последняя ночь октября — та не наша, та для тех, что похуже, и в неё лучше сидеть дома и не звать никого.

— А вторая?

— Ночь на первое мая. — Она переводит глаза на меня. — Первого мая холмы открываются, и они выходят: по своим делам, по чужим, за тем, чего им не хватает. В эту ночь они и берут.

— Какое сегодня?

— Первое. — Она поправляет очки. — Вы родили вчера в половине двенадцатого, за полчаса до того, как всё открылось. Такое не случайно, Карина Александровна: они чувствуют, где в эту ночь тонко. А где тоньше, чем на переходе одной жизни в другую?

— Кто они?

— Благие. — Она надевает очки обратно. — Фейри. Благой Двор: они не любят, когда их так называют, они говорят «волшебный народ». Всегда в белом с золотом, всегда красивые, всегда по правилам.

— Фейри не бывает.

— И ребёнка у вас не забрали. — Она смотрит мне в глаза. — Так получается?

Я молчу.

— Я здесь тридцать восемь лет, — говорит она. — Такое я видела четыре раза.

— Четыре.

— Первый в восемьдесят девятом, когда сама была молодой. Забрали мальчика у девушки из шестой палаты. — Она смотрит на сложенный лист у меня на простыне. — Потом в две тысячи четвёртом, потом в тринадцатом, и вот теперь вы. Каждый раз одно и то же: кроватка пустая, бумажка на простыне, а на обходе все молчат.

— И никто ничего не сделал?

— Сделали. — Она подаётся вперёд. — Девушка из шестой пошла в милицию. Ей сказали: послеродовое.

— И?

— Она ходила три месяца и писала. — Вера Павловна говорит тише. — Потом её положили в пятую больницу, в отделение. Через год она не помнила, что рожала. Совсем. Показывала фотографии и говорила, что это чужие дети.

В палате становится очень тихо. В коридоре гремит тележка, и звук идёт как через воду.

— А в тринадцатом? — спрашиваю я.

— В тринадцатом я не молчала. — Вера Павловна садится прямее. — Я позвала сама. Вернули.

— Как?

— Их главный, — говорит она. — У них есть Повелитель, он над всеми в Благом Дворе. Дориан. У них на это договор: взял без согласия — отвечай по праву.

— И вы ему сказали.

— Я сказала: верни. — Она смотрит на меня. — И он вернул, потому что у них нельзя не ответить, когда требуют по праву и вслух.

Я смотрю на неё и понимаю, что верю. Не потому, что она убедительно говорит, а потому, что я видела свёрток у него на руках, и потому, что она не стала бы врать так, чтобы выглядеть сумасшедшей.

— Как мне к нему попасть?

— У них нет адреса. — Она качает головой. — Есть имя. Скажите его три раза — про себя, не вслух, — и скажите, что пришли сами и по праву. Он услышит.

— И вы его звали? — спрашиваю я.

— Так я его и позвала. — Она кивает. — Сказала в ординаторской, трижды, и он пришёл туда сам. Через минуту.

— И всё?

— И всё. — Она встаёт и берёт папку. — Только запомните, Карина Александровна: у них ничего не есть. И не благодарить. Скажете «спасибо» — станете должницей, а с должников они берут своё. И своё имя называйте только тогда, когда иначе нельзя.

Она доходит до двери и оборачивается.

— И ещё. Когда он придёт, не просите. Требуйте. Просить у них бесполезно: просьба — это когда ты согласен, что тебе могут отказать.

Дверь закрывается. Я остаюсь одна.

За окном всё то же серое. На простыне лежит сложенный пополам лист, и на нём, если развернуть, будет чужой рост и чужой вес.

Я подтягиваюсь выше, держась за шов, и складываю руки на одеяле.

Дориан. Дориан. Дориан.

Я говорю это про себя, трижды, и на третий раз в палате гаснет свет.

Не так, как гаснет лампа: с щелчком и сразу. Свет уходит, как вода из ванны, медленно и разом, и вместе с ним уходят звуки: тележка в коридоре, гул лифта, чей-то кашель за стеной. Остаётся моё дыхание, шов и холод.

Я жду, что сейчас щёлкнет и загорится снова, или войдёт медсестра с фонариком, или я просто проснусь. За последние сутки я просыпалась дважды и оба раза видела то, чего нет. Я не пугаюсь сразу: я думаю, ну вот, теперь ещё и это. Наркоз, кровопотеря, послеродовое. Вера Павловна мне только что объяснила, что напишут в бумагах.

А потом становится светло.

Свет не от лампы. Он ровный, белый, и он не бьёт в глаза, хотя должен был бы: такой свет бывает во сне, когда знаешь, что спишь, и всё равно жмуришься. В нём видно каждую складку на одеяле, каждую ворсинку на полу, и ни одной тени.

И вот тут приходит страх.

Он не как в кино, когда кричат. Он как вода в подвале: сначала по щиколотку, потом по колено, и ты уже не идёшь, а стоишь и думаешь, куда деть руки.

Я тянусь к кнопке вызова и не нахожу её. Пальцы идут по краю кровати, по простыне, по воздуху, кнопки нет. Она лежит на месте, в пяди от моей руки, я вижу её краем глаза, и рука до неё не дотягивается, потому что я боюсь пошевелиться.

У окна стоит мужчина.

Высокий. Светловолосый, длинные волосы распущены по плечам и в этом свете отдают золотом. Камзол поверх белой рубашки, белые брюки, золотая нить по краю, сапоги тёмной рыжей кожи, без единой пылинки, хотя пол в палате не мыли с вечера. Лицо молодое и не молодое сразу, такие же гладкие лица были у кроватки.

Глаза жёлтые. Не карие, не зелёные: жёлтые, как старое золото, и зрачок в них узкий, как у кошки, которой светло и которая всё равно видит.

А уши длинные и острые, и он их не прячет.

Он не спешит. Стоит и смотрит на меня, и в его лице нет ни любопытства, ни брезгливости. Так смотрят на строчку, которую нужно прочитать.

Потом делает шаг, другой и идёт вдоль стены, не глядя под ноги. Сапоги по полу не стучат. У шкафа он останавливается, поворачивает голову к зеркалу — и я вижу, что в зеркале его нет.

Там отражается палата: кровать, капельница, я, бледная, с прижатой к животу рукой. И пустое место у окна.

Он замечает, что я смотрю, и отходит от зеркала.

Потом он смотрит на мои волосы.

Я знаю, что у меня слиплось на висках, и знаю, куда он смотрит. Белое здесь всё: халаты, стены, свет, он сам. А я в этом белом — единственное тёмное пятно.

Он смотрит на них дольше, чем нужно. Потом отводит глаза, и в его лице опять ничего нельзя прочитать, но я успеваю заметить, что секунду назад там было что-то другое.

— Карина Александровна, — говорит он.

Голос спокойный и вежливый. Ни угрозы, ни тепла.

— Дориан.

Он чуть склоняет голову.

— Вы назвали моё имя трижды. — Это не вопрос. — Кто вам его дал?

— Неважно.

— Важно. — Он не повышает голоса. — Имя — это нить. Тот, кто держит нить, тот тянет. Мне нужно знать, кто её держит.

— Значит, вы не всех знаете, — говорю я.

Он смотрит на меня ещё секунду, и что-то в его лице меняется: не злость, а что-то более внимательное, как если бы перед строчкой появилась сноска.

— Где мой сын? — спрашиваю я, пока он не начал говорить другое.

— Меня по имени зовут немногие, — говорит он и берётся двумя пальцами за трубку капельницы, как за любопытную вещь. Отпускает, и трубка качается. — И почти всегда это те, кто хочет получить, или те, кто хочет убить. Вы лежите после операции, у вас шов и капельница. Значит, получить.

— Я не опасна.

— Я этого и не говорил. — Он смотрит на меня без насмешки. — Опасны те, кто хочет убить. Остальные просто чего-то хотят.

— Где мой сын? — говорю я. — Я не про имя.

Он останавливается у кроватки и смотрит на неё. Долго. Потом проводит ладонью по простыне, там, где лежал ребёнок, и под его рукой простыня разглаживается, как отглаженная. Он поднимает ладонь и смотрит на неё.

— Тепло, — говорит он. — Ещё недавно было тепло.

— Расскажите, — говорит он.

И я рассказываю.

Про ночь, про троих, про белое с золотом и острые уши, про мужчину со свёртком на руках. Про то, как я говорила «не надо», а мне велели спать.

Он слушает и не перебивает.

— В котором часу? — спрашивает он, когда я заканчиваю.

— Я родила в половине двенадцатого. Они пришли после.

— Ночь на первое мая. — Он отворачивается к окну. — Да.

— Это ваши люди.

— Это мои, — говорит он спокойно. — В эту ночь за стеной ходят только мои, а вы, кроме того, назвали белое с золотом. У неблагих золота нет: они его не выносят.

— Так верните его.

Он оборачивается.

— Я не отдавал такого приказа.

— Мне всё равно, кто отдавал. Он у вас.

— Он у нас, — поправляет он. — Это не одно и то же.

И от этой поправки мне становится так холодно, что я перестаю чувствовать шов.

— Мне всё равно, — говорю я ещё раз.

— А мне нет. — Он подходит ближе. — Если мои берут смертного ребёнка и действуют моим именем, значит, в моём дворце кто-то решил, что может говорить за меня. Это не про вашего сына, Карина Александровна. Это про мой Двор.

— Мой сын не «не про него».

— Нет. — Он соглашается так легко, что я не сразу понимаю, что он согласился. — Он как раз про него.

Он берёт с простыни лист, разворачивает, читает. Рост, вес, время. Потом складывает и кладёт обратно, точно так же, как было.

— У него нет имени, — говорит он.

— Что?

— В бумагах нет имени. — Он смотрит на меня. — Вы его не назвали.

— Я не успела.

— Не успели. — Он произносит это медленно, как пробует на зуб. — Это многое объясняет.

— Что объясняет?

— Почему взяли именно его. — Он отходит от кроватки. — Безымянного можно взять, и никто не взыщет: он ещё ничей, он не привязан. Если бы вы назвали его до того, как всё открылось…

Он не договаривает, и я не хочу дослушивать.

— Верните мне его, — говорю я. — Не объясняйте, а верните.

— Я не могу вернуть то, чего не держу в руках. — Он говорит это без раздражения. — Я могу найти.

— Найдите.

Он смотрит на меня долго, и в его жёлтых глазах ничего не читается.

— Вы понимаете, о чём просите?

— Я требую.

— Тем лучше. — Он чуть наклоняет голову. — С теми, кто просит, я торгуюсь. С теми, кто требует, работаю.

Он поворачивается к двери и говорит туда, в пустую палату:

— Форму.

Я думаю про бумаги: рост, вес, время. Потом понимаю: не бумаги.

И в палате становится тесно.

Не от шагов: шагов я не слышу. Просто у двери уже стоят две женщины, в белом, с золотом, иодна из них держит в руках что-то сложенное, тонкое, белое.

— Встаньте, — говорит Дориан.

— Я после операции.

— Я знаю. — Он подходит к кровати и смотрит на мою руку, которой я держу живот. — Уберите руку.

— Что?

— Уберите руку, Карина Александровна.

Я не двигаюсь. Тогда он берёт мою руку за запястье и отводит в сторону. Пальцы у него прохладные.

— Не надо, — говорю я.

— Будет горячо один раз. Потом нет.

Он кладёт ладонь мне на живот, поверх повязки, и под его ладонью становится горячо. Не больно, а именно горячо, как если приложить к коже кружку через полотенце. Свет идёт из-под его пальцев, белый и густой, и в палате ещё светлее.

Я держусь за край кровати и смотрю в потолок. Пахнет чем-то сухим и чистым, как в стоге сена на солнце.

— Дышите, — говорит он через минуту и убирает руку.

Я дышу. Живот не болит. Я трогаю его под рубашкой: шов на месте, но он тонкий и сухой, как старая царапина, и не тянет.

— Оденьте её, — говорит он, и это уже не мне.

И отворачивается. Отходит к окну, становится к палате спиной и больше не двигается, и его длинные уши видны из-под светлых волос, неподвижные, как у зверя, который делает вид, что не слушает.

Меня одевают быстро и молча. Бельё сухое и хлопковое, нездешнее, и одна из женщин присаживается и разбирается с послеродовой повязкой, а я смотрю в потолок, чтобы не смотреть на её руки.

Платье надевают через голову: белое, шёлковое, до пола, нигде не давит на живот, сбоку открыто от бедра. Шёлк холоднее воздуха, и я чувствую его плечами раньше, чем животом. Туфли без каблука оказываются как раз.

— Там тепло, — говорит одна из женщин, отвечая на вопрос, которого я не задавала.

Я стою перед зеркалом: шёлк ложится поверх тонкой розовой полоски на животе. Его в зеркале нет. Он стоит у окна, не двигается и не оборачивается.

— Куда мы идём? — спрашиваю я.

— Ко мне, — говорит он. — Во дворец. Пока я не пойму, кто из моих это сделал, вы будете там, где я смогу видеть вас обоих.

— Обоих?

— Ребёнка я тоже найду. — Он поднимает руку и ведёт ею по воздуху, как ведут ладонью по стеклу. — И, Карина Александровна. Я вам ничего не запрещаю. Вспомните это, когда вам начнут рассказывать, что здесь можно, а что нельзя.

В палате напротив двери проступает белая точка. За ней вторая, третья, они расползаются, слипаются и вытягиваются в овал, и от него светло, как днём, а теней в палате не остаётся вовсе. Только свет, овал, две его женщины у двери и мы с ним.

Он протягивает руку.

— Держитесь за меня и дышите носом. Вдох на раз, выдох на два. Рот не открывайте: там тесно, и воздух идёт не сразу.

— Тесно?

— Как в воде, — говорит он. — Три шага.

Я кладу ладонь в его ладонь. Пальцы прохладные и сухие, сжимаются крепко, но не больно.

Я делаю вдох на раз и шагаю в белое.

Тёмная

Белое меня проглатывает, и его рука успевает лечь мне на талию — единственное твёрдое, что остаётся.

Сначала нет ничего: ни верха, ни низа, ни пола под ногами. Я не иду, а вишу, и воздух вокруг густой и тёплый, плотнее воды. Он входит в меня через нос и не идёт дальше, стоит в горле и не пускает.

Я задерживаю дыхание. Само получается: я сжимаюсь вся и не дышу. Пальцы впиваются в его ладонь, и разжать их я не могу.

Зажмуриваюсь тоже сама, и так крепко, что в глазах красно.

— Дышите, — говорит Дориан.

Голос у самого уха, близко, и я чувствую, как от него шевелятся волосы на виске.

— Не могу, — говорю я и не слышу себя: звук не идёт, вязнет в горле.

— Можете. — Его рука на моей талии сжимается крепче, а вторая держит мою ладонь. — Вдох на раз. Я считаю. Раз.

Я вдыхаю. Тянет в боку, но воздух всё-таки проходит.

— Два. Выдох. Медленнее.

Я выдыхаю. Плотное вокруг расступается на полшага, и дышать становится чуть легче.

— Раз, — говорит он. — Два. Ещё три раза, и мы выйдем.

Я считаю вместе с ним. Раз, два. Раз, два. Его ладонь на талии горячая, и я держусь за неё, как за перила на лестнице, где нет ступеней.

На третий раз под ногами появляется пол.

Он твёрдый, гладкий и тёплый даже сквозь туфли. Ноги у меня дрожат, и я держусь за его руку, пока не понимаю, что стою сама.

— Пришли, — говорит Дориан. — Открывайте глаза.

Я открываю — и сразу жмурюсь снова, потому что здесь очень светло.

— Не спешите, — говорит он. — Глаза привыкнут.

Я открываю медленно, по чуть-чуть.

И вижу Двор.

Мы стоим в огромном зале, и свод у него такой высокий, что верх теряется в светлом мареве, и кажется, что над головой небо, которого нет. По обе стороны — окна, высокие и узкие, и за ними белый свет, без единой тени.

Пол под ногами белый, с прожилками золота, и в нём видно моё отражение: тёмная девочка в белом платье, растрёпанная, с припухшими алыми губами.

Колонны стоят по кругу, высокие, в два или три моих роста, и между ними высятся арки, а в каждой арке висит что-то цветное, лёгкое, и оно шевелится, хотя ветра нет.

Я поворачиваюсь на месте, чтобы увидеть всё сразу, и не вижу конца: зал идёт дальше, в глубину, и там ещё колонны, ещё арки, лестница вверх, лестница вниз, и где-то далеко поют.

Поют не словами. Звук без подъёма и спада, и от него в груди пусто.

— Дышите, — говорит Дориан у меня над ухом.

Я понимаю, что опять не дышу, и вдыхаю.

В зале есть люди. Нет, не люди. Я вижу их краем глаза и сначала не могу поймать ни одного лицом: они стоят по сторонам, у колонн, в проходах, и все они смотрят на меня.

Высокие. В белом и золоте. Светлые — у кого волосы как лён, у кого как солома, у кого седые, и ни одного тёмного.

И вот тут я понимаю, как выгляжу рядом с ними.

Они все поворачиваются ко мне, и их лица ничего не выражают: ни удивления, ни отвращения, ничего. Просто гладкие лица, одинаковые улыбки, и глаза, которые смотрят и запоминают.

Одна из женщин у колонны наклоняется к другой и говорит тихо. Но здесь слышно всё.

— Тёмная, — говорит она. И произносит это так, как говорят «грязная». — Ты видела волосы?

— Смертная, — отвечает вторая. — Пахнет.

— Чем?

— Молоком и кровью.

Обе смотрят на меня и улыбаются одинаково, как по команде.

— Не обращайте внимания, — говорит Дориан.

— Они на меня смотрят.

— Разумеется. — Он говорит это так, как говорят «разумеется, здесь есть пол», и уголок рта у него дёргается. — Вы первая за очень долгое время, кто вошла сюда не по приглашению.

— Я вошла с вами.

— Это и есть «не по приглашению». — Он наконец отпускает мою талию и делает шаг вперёд. — Идёмте. Я покажу вам ваши комнаты, пока мои не решили, что вы здесь для того, чтобы их развлекать.

Он идёт и, не поворачивая головы, говорит в сторону колонн:

— Записи за первое мая. Все. Мне на стол.

Я не вижу, кому это сказано. Но от колонны отделяется кто-то высокий, в белом с золотом, кланяется коротко и исчезает между арками.

Я делаю шаг и чуть не падаю: ноги не слушаются. Он не оборачивается и не подаёт руку.

— У меня ноги не идут, — говорю я.

— Идут, — отвечает он, не поворачивая головы. — Просто медленно. Здесь никто не торопится, кроме меня.

И я иду за ним по белому полу, мимо колонн и арок, мимо гладких лиц, которые поворачиваются мне вслед.

Я чувствую их взгляды спиной, и между лопаток у меня становится холодно.

Мы идём долго. Переход тянется, поворачивает, и в нём нет ни одной двери, кроме одной, в самом конце.

Дворец я вижу урывками, потому что иду следом и смотрю в спину.

Залы сменяются залами. В одном по кругу стоят высокие вазы с цветами, и цветы не вянут. В другом висит гобелен: охота, всадники, собаки, олень, и я успеваю заметить, что у оленя человеческие глаза. Третий пустой, и в нём только эхо, и мои шаги возвращаются ко мне из-под свода.

Везде одно и то же: белое, золото, свет. Ни угла, где можно спрятаться. Ни тёмной комнаты, где можно просто посидеть.

Фейри то и дело идут навстречу, все светлые, и все кланяются Дориану и провожают меня глазами. Один, молодой, с волосами до плеч, оборачивается и смотрит мне вслед так долго, что я успеваю дойти до поворота.

— Здесь много комнат? — спрашиваю я.

— Много.

— И все такие?

— Все, — говорит он. — Это дворец. Здесь нельзя быть некрасивым. — Он не сбавляет шага. — Я проверял.

Я не понимаю, шутит он или нет.

Наконец коридор кончается. Он открывает ту единственную дверь и отступает, пропуская меня вперёд.

Я вхожу и останавливаюсь.

Комната большая, светлая, вся белая с золотом: кровать под балдахином, шкаф, стол у окна, кресло и второе, поменьше, у стены. В окне — сад под стеклянным куполом, и в нём лето: цветут деревья, все сразу, густо, хотя за стенами только первое мая и в Новосибирске ещё не распустилось ни одного листа. Я подхожу и кладу ладонь на стекло. Оно тёплое.

— Здесь вы будете жить, — говорит Дориан. — Пока я не найду вашего сына.

Я оборачиваюсь.

— А потом?

Он не отвечает. Проходит в комнату, садится в кресло у окна и кладёт руки на подлокотники.

— Сядьте, — говорит он.

— Я постою.

— Как хотите. — Он смотрит на меня снизу вверх. — Расскажите мне про отца.

— Про кого?

— Про отца ребёнка.

— Не ваше дело.

— Моё. — Он говорит это без нажима. — Если ребёнка забрали, я должен знать, кому это выгодно. У людей отцам это часто выгодно.

Я стою и молчу. В окне цветут деревья, и поют где-то, и всё это так спокойно, что мне хочется что-нибудь сломать.

— Он отказался, — говорю я наконец. — Ещё до роддома. Сказал, что ему это не нужно.

— Что именно не нужно?

— Ребёнок. Я. Всё.

— Это он сказал, — говорит Дориан. — А сделал что?

Я не понимаю.

— Слова — это слова, — поясняет он. — Люди говорят много. Мне нужно знать, что он сделал: ушёл, не пришёл, забрал вещи?

— Всё сразу.

— Как его зовут?

— Зачем вам?

— Затем, что отец ребёнка может передумать. — Он смотрит спокойно. — И прийти за ним. Или прийти с кем-то, кто умеет открывать двери.

— Он не передумает.

— Тогда назовите имя, и мы оба будем спать спокойно.

— Дмитрий, — говорю я. И от этого слова во рту становится кисло.

Дориан кивает так, что видно: запомнил. И встаёт.

Он подходит ко мне — близко, ближе, чем нужно, — и я отступаю на шаг и упираюсь спиной в стену.

— Что вы делаете?

— Смотрю. — Он берёт в пальцы прядь у моего виска и поворачивает её на свет, как поворачивают ткань, чтобы увидеть, как она блестит. — У нас таких нет.

— Каких?

— Тёмных. — Он смотрит на волосы, потом на моё лицо, и взгляд задерживается там дольше, чем нужно. — Во всём моём Дворе нет ни одного тёмного. Я забыл, как это выглядит.

Он улыбается — коротко, одним углом рта, — и от этой улыбки мне не по себе, потому что она не вежливая совсем.

— Отпустите.

Он отпускает. Но не сразу.

— Простите, — говорит он, и это первое слово, которое он произносит не как Повелитель.

— Ничего, — говорю я и отхожу от стены. — Что теперь?

— Теперь я буду искать. — Он идёт к двери. — А вы будете ждать здесь и не выходить. У нас с вами договор, Карина Александровна: я обязан искать, вы обязаны ждать.

— Я не подписывала никакого договора.

— Вы назвали моё имя, — говорит он. — Этого достаточно.

Он доходит до двери и берётся за ручку. И останавливается.

— Ещё одно, Карина Александровна.

— Что?

— Вы всё время говорите мне «вы». — Он оборачивается. — Меня это утомляет. Здесь все говорят мне «вы», даже те, кто меня ненавидит. Давайте на «ты».

— А если я не хочу?

— Тогда уходите. — Он показывает на дверь. — Дверь открыта.

Я смотрю на дверь, потом на него.

— Ладно, — говорю я. — Только это ничего не значит.

— Разумеется. — Он склоняет голову.

Он открывает дверь.

— Я иду с тобой.

Он оборачивается.

— Куда?

— Искать. — Я говорю это и сама слышу, как это звучит: белая комната, белое платье, чужие туфли. — Это мой ребёнок. Если ты идёшь спрашивать своих, я иду с тобой.

— Это не прогулка.

— Я знаю.

— Там на тебя будут смотреть, — говорит он. — И говорить о тебе будут так, как говорят о вещах.

— Уже говорят.

Он молчит. Потом отпускает ручку.

— Хорошо, — говорит он. — Тогда не отставай.

И выходит.

Я иду за ним.

* * *

Коридоры здесь длинные и все одинаковые: белый пол, белые стены, окна, за которыми ровный свет. Через каждый поворот я жду, что мы придём куда-нибудь, и каждый раз начинается новый коридор, такой же.

— Ты заблудишься, если пойдёшь одна, — говорит он, не оборачиваясь. — Здесь можно идти час и вернуться к той же двери.

— Как вы... — Я поправляюсь. — Как ты находишь дорогу?

— Я её помню. — Он поворачивает направо. — Дворец слушается того, кто его помнит.

Мимо проходит фейри в белом, высокий, с длинными светлыми волосами. Он кланяется Дориану коротко и на меня не смотрит вовсе, будто я часть стены.

— А если я запомню? — спрашиваю я.

— Тогда и тебя послушается. — Он сворачивает на лестницу. — Это не так сложно, как кажется. Трудно только в первый раз.

Мы спускаемся. Ступени белые, и на каждой вырезан узор, и узоры эти повторяются, и я ловлю себя на том, что считаю их.

— Куда мы идём?

— В зал записей. — Он идёт быстро, но не так, чтобы я отставала. — У нас всё записывают. Кто вошёл, кто вышел, кто что взял, кто кому что должен. Двор на этом стоит: если запись есть, значит, так и было.

— И про мою ночь есть запись?

— В том и дело, — говорит он и останавливается. — Я послал за ними, как только мы вошли. Записи нет. И я хочу, чтобы ты увидела это сама.

— Как нет?

— Так. — Он поворачивается ко мне. — На первое мая в моём Дворе не записано ни одного выхода за стену. Ни одного. За тысячи лет такого не было.

Я останавливаюсь.

— За сколько?

— За тысячи. — Он пожимает плечом. — Я не считаю.

Я смотрю на него и вдруг смеюсь. Смех выходит короткий, некрасивый, и я зажимаю рот рукой, но поздно.

Он останавливается и оборачивается.

— Что? — спрашивает он.

— Ты живёшь вечно. — Я всё ещё смеюсь и понимаю, что это, наверное, опасно, и не могу остановиться. — И каждое первое мая у вас кто-то выходит за стену, и вы это записываете. Тысячи лет. Тебе не надоело?

— Надоело, — говорит он. — Лет через триста.

— И что?

— И я нашёл себе дела. — Он улыбается, и на этот раз улыбка доходит до глаз. — Триста рыцарей. Двор. Война с соседями. Смертные, которые приходят и уходят. Скука — это когда тебе нечего терять, Карина. У меня есть что.

Я перестаю смеяться.

— Значит, записи врут.

— Записи не врут. — Он говорит это спокойно, и от этого спокойствия у меня холодеет спина. — Записи можно стереть. И тот, кто это сделал, знал, что делает: он стёр не только выход, но и вход.

— И что это значит?

— Что я ищу не вора, — говорит Дориан. — А того, кто умеет переписывать мой Двор.

Он больше ничего не говорит. Мы идём до конца лестницы молча, и я слышу только свои шаги — его не слышно совсем.

Лестница кончается, и он открывает ещё одну дверь.

Я иду за ним и путаюсь в подоле. Платье длинное, а я к длинному не привыкла: нога цепляется за ткань, пол уходит из-под меня, и я лечу вперёд.

Он ловит меня за локоть. Одной рукой, на ходу, почти не оборачиваясь, и ставит на ноги, как если бы я просто споткнулась о порог.

— Осторожнее.

Я стою к нему вплотную, и от этого его рука на моём локте важнее всего остального.

И в этот раз он не отводит глаз.

Он смотрит мне в лицо — долго, прямо, — и его взгляд идёт от глаз к губам и остаётся там. Зрачок у него сужается, как игла. Я вижу его так близко, что различу тонкую сетку золотых жилок в жёлтой радужке.

Его пальцы на моём локте сжимаются, и по руке от них идёт не холод, а тепло, острое, как ожог от крапивы. Оно доходит до плеча и идёт дальше.

Я не дышу.

— Пусти, — говорю я.

Он отпускает. Не сразу: ещё секунду держит, прикидывая. Потом убирает руку, и на локте остаётся светлое пятно — не ожог, а след, как от солнца через стекло.

— Я не привыкла к длинному, — говорю я, чтобы что-то сказать.

— Вижу. — Он идёт дальше, и плечо у него дёргается: смеётся. — Подол подними.

Я поднимаю подол и иду за ним.

Зал записей оказывается за дверью.

Я жду чего-то тёмного, как в библиотеке, со свечами и пылью. Но здесь светло так же, как везде: белые стеллажи от пола до свода, и в них книги, одна к одной, все в белом с золотом. Свет идёт от потолка без теней, и в этом свете видно каждую пылинку, которой нет.

Посреди зала стоит стол, длинный, как бильярдный, и за столом — фейри. Худой, с длинным лицом и волосами, зачёсанными так гладко, что они блестят.

Он встаёт, когда мы входим, и кланяется.

— Повелитель.

— Первое мая, — говорит Дориан. — Выходы.

Фейри не спрашивает, зачем. Он идёт к дальнему стеллажу, достаёт книгу — она большая, тяжёлая, в золотом окладе, — и кладёт её на стол. Открывает, переворачивает страницы, и от этого в зале пахнет чем-то сухим, как от старой бумаги.

— Здесь, — говорит он.

Дориан подходит и смотрит.

Я подхожу тоже.

Страница белая. На ней расчерчены строки, и в каждой строке стоит дата, и напротив даты — слово и время. Почерк как напечатанный. Тридцатое апреля: пусто. Первое мая: пусто.

— Ничего, — говорит Дориан.

— Ничего, — повторяет фейри.

— Кто-то выходил.

— Я знаю.

— Тогда объясните мне, — говорит Дориан, и голос у него такой, что фейри отступает на полшага, — почему этого нет.

— Потому что запись ставится сама, — говорит фейри. — Не мной. Она появляется, когда что-то случается: кто вошёл, кто вышел, кто что взял. Я не могу её не поставить, как не могу не дышать.

— А стереть? — спрашивает Дориан.

— Стереть можно рукой, — говорит фейри. — Только книга должна позволить. — Он запинается. — Этого не бывает, Повелитель. За всё время, что я здесь, этого не было ни разу.

— Теперь было, — говорит Дориан.

Я смотрю на страницу и трогаю её пальцем.

Бумага гладкая. И под первым мая, там, где должно быть слово, есть вдавленность: не чернила, а след. Кто-то писал сильно, продавил лист, а потом чернила сняли.

— Здесь писали, — говорю я.

Оба смотрят на меня.

— Что?

— Смотрите. — Я наклоняюсь ближе и веду пальцем по вдавленности. — Тут буквы. Их не видно, но они есть. Как в тетради, если вырвать лист.

Дориан отодвигает меня плечом — не грубо, но так, чтобы я отошла, — и наклоняется над книгой сам. Долго смотрит.

Потом выпрямляется.

— Писали, — говорит он. — И стёрли так, что чернила ушли, а след остался.

— Кто может? — спрашиваю я.

— Никто. — Он поднимает голову и смотрит на фейри. — Только тот, кто держит книгу.

Фейри бледнеет. Я не думала, что они умеют бледнеть: у него лицо сереет, как бумага, и он прижимает руки к груди.

— Повелитель, я...

— Я знаю, что вы не умеете, — говорит Дориан. — Я знаю вас пятьсот лет, и все пятьсот вы боитесь меня одинаково.

Он закрывает книгу. Звук выходит глухой и очень громкий в этой тишине.

— Значит, — говорит он, — в моём Дворе есть кто-то, кто умеет то, чего не умеете вы. И этот кто-то хочет, чтобы я думал, будто ничего не было.

Он берёт книгу под мышку и идёт к выходу. У двери оборачивается.

— Карина.

Я не слышу. Я стою над опустевшим столом и смотрю на то место, где лежала книга, и в голове крутится одно и то же: кто-то стёр запись. Этот кто-то ходил здесь, дышал этим воздухом, стоял у этого стола.

— Карина.

Я вздрагиваю всем телом, как от удара, и только потом оборачиваюсь.

— Что?

— Идём.

И я иду за ним.

— А ты? — спрашиваю я, когда мы выходим. — Ты можешь стереть?

Он не отвечает сразу.

— Могу, — говорит он. — Поэтому начну с себя.

Он доводит меня до двери молча.

— Спи, — говорит он. — Утром я приду за тобой.

— А если не найдёшь?

— Найду.

— А если это кто-то из твоих, и он...

— Карина. — Он смотрит на меня. — Спи.

И уходит. Я смотрю ему в спину, пока он не сворачивает за поворот, и вспоминаю, что он так и не ответил, что будет, если это кто-то из его.

В комнате всё так же, как я её оставила: кровать, шкаф, два кресла, стол у окна. И тишина, в которой слышно, как цветёт сад.

Я подхожу к шкафу и открываю его.

Пусто. Полки вытерты до блеска, и пахнет кедром.

Я закрываю шкаф.

Значит, платье мне принесут. Опять белое.

Я подхожу к двери и берусь за ручку. Она не заперта. Я стою так, с ручкой в ладони, и слушаю: за дверью тихо, и только далеко, за поворотами, кто-то ходит. Я отпускаю ручку и возвращаюсь к кровати.

Кровать большая, и подушки взбиты, и одеяло отогнуто с одного края — с той стороны, с которой ложатся. Я сажусь на край и смотрю на сад.

Там лето. Деревья стоят в цвету, и лепестки падают в воду канала, и вода их уносит, и я думаю: у них тут даже лепестки убирают вовремя.

Потом стягиваю платье через голову, комкаю и бросаю на пол у кровати. Оно лежит на белом полу белым пятном, и я смотрю на него и не поднимаю.

Я ложусь и натягиваю на себя одеяло до подбородка, и мне впервые за сутки не холодно.

Свет здесь не гаснет. Я лежу и смотрю в потолок: белый, с золотыми полосами, и полосы не двигаются, потому что двигаться нечему — ни лампы, ни свечи, ничего.

Матрас подо мной тёплый и не остывает, будто его только что грели.

В саду за стеклом роса, и от неё лепестки блестят, и это единственное, что здесь меняется.

Шаги за дверью не прекращаются. Они не приближаются и не удаляются, а идут и идут, как будто кто-то меряет один и тот же путь.

Поют всё то же. Без слов, по кругу.

У сна нет ни начала, ни конца, и от этого не заснуть ещё труднее.

Я поворачиваюсь на бок и подтягиваю колени к груди. Так я спала в общаге, когда было холодно, и так, наверное, спят все, кому некуда идти.

Платье на полу белеет, и я всё смотрю на него, пока оно не расплывается.

Слёз нет. Я жду их и не дождусь: глаза сухие, в горле сухо, и я лежу и думаю, что со мной что-то не так.

Я пытаюсь вспомнить, как он выглядел, и не могу. Я его не видела. У меня остался свёрток на руках у мужчины и край пелёнки, и это всё, что у меня от него есть.

Я закрываю глаза и считаю вдохи. Раз, два.

Так, как он учил.

Раз. Два. Раз. Два.

Я не замечаю, когда перестаю считать.

Свет всё горит.

Свидетель

Я просыпаюсь от стука в дверь.

Три раза, коротко и ровно, и я ещё не успеваю сказать «входи», как дверь уже открывается.

Входит Дориан.

Он в белой рубашке с расстёгнутым на две пуговицы воротом и в белых брюках, и рукава закатаны до локтя. Волосы распущены и спадают на плечи, и в них, в этом свете, идёт золотистый отлив, как в старой бронзе.

И я вижу то, чего вчера не было видно: на левом предплечье у него шрам. Длинный, тонкий, белый, от локтя почти до запястья, и он старый — такой шрам не зарастает, такой остаётся навсегда.

Он замечает, что я смотрю, и опускает рукав.

— Откуда это? — спрашиваю я.

Он замирает.

— Что?

— Шрам. Откуда он у тебя?

Он смотрит на меня так, что видно: вопрос он услышал впервые.

— Ты первая, кто спросила, — говорит он.

И я удивляюсь — своему вопросу и его ответу. У фейри, которые живут вечно и не болеют, есть шрамы, и никто у них об этом не спрашивает.

— Ладно, — говорит он и застёгивает рукав.

— Ты не спала.

— Спала.

— У тебя глаза, как у тех, кто не спал.

— У меня глаза, как у тех, кто сутки назад родил. — Я сажусь на кровати и подтягиваю к коленям одеяло. — Что тебе нужно?

— Сейчас придут служанки, — говорит он. — Помогут тебе собраться.

— Куда собраться?

— Мы идём смотреть моих. — Он отходит к двери. — Тех, кто стоял в ту ночь. Ты должна их увидеть.

Я открываю рот, чтобы сказать, что это пустая трата времени, и не успеваю: дверь открывается, и входят две женщины в белом. Они кланяются Дориану, и старшая сразу оглядывает меня с ног до головы, отмечая, где подшить.

— Я зайду позже, — говорит Дориан и выходит.

Старшая из женщин кланяется.

— Вставайте, — говорит она. — Пойдём в купальню.

— Я не хочу.

— Надо.

— А если я всё равно не хочу?

— Тогда понесём.

Она говорит это без нажима, но так, что спорить бессмысленно.

Я встаю.

Купальня оказывается за дверью в стене, которой я вчера не заметила: круглый бассейн, вода тёплая, пар, и на стенах всё то же белое с золотом. В воздухе пар и запахи: белые цветы, мёд и что-то ещё, тёплое, от чего глаза закрываются сами. Здесь пахнет так, как не пахнет нигде: по полу разлили лето.

Они моют меня молча. Чужие руки там, где я сама не могу как следует, и я стою, смотрю в стену и держусь за бортик.

И здесь, в тёплой воде, среди мёда и цветов, меня накрывает.

Не сразу. Сначала просто трудно дышать: воздух густеет. Потом я вспоминаю, что вчера в это же время я ещё не знала, какого он роста и какого цвета у него глаза. Что я его так и не подержала. Что я видела его только на руках у чужого.

Я смотрю на свой живот. Он пустой и плоский, и там, где был шов, только тонкая розовая полоска.

И это хуже всего. Тело уже зажило. Тело уже согласилось, что ничего и не было.

— Вам плохо? — спрашивает одна.

— У меня ребёнка забрали, — говорю я.

Они молчат.

И та, что помоложе, кладёт руку мне на плечо. Просто кладёт, ничего не говорит и не убирает.

Я стою под её рукой, и слёзы идут сами. Не рыдания, не всхлипы: просто катятся, тёплые, падают в воду, и по ней расходятся круги, и вода их уносит.

Никто не говорит «успокойтесь». Никто не говорит «всё будет хорошо».

Они стоят вокруг и ждут, пока я выплачу своё.

Потому что не будет.

Меня вытирают тёплым полотенцем, заворачивают в белое и так, в полотне, выводят обратно в комнату.

В комнате служанки помогают мне одеться. Платье белое, шёлковое, с золотой нитью по краю, длинное и открытое на одном плече и на боку, и они поднимают его вдвоём и опускают мне на плечи, и одна придерживает, пока вторая застёгивает. Потом мне надевают туфли, белые, мягкие, без каблука, и они оказываются ровно по ноге.

Мельком я вижу себя в зеркале — тёмные волосы, белое платье — и не сразу понимаю, что это я.

Потом меня усаживают на стул и берутся за волосы. Старшая расчёсывает и начинает заплетать: раз-два, раз-два, коса идёт туго, кожа на висках натягивается.

И тут открывается дверь.

Дориан останавливается в двух шагах и смотрит на косу.

— Оставьте, — говорит он.

Служанка замирает с прядью в пальцах.

— Повелитель?

— Распустите. — Он поднимает голову и смотрит на меня, а не на неё. — Так лучше.

Она расплетает, и волосы падают обратно, тяжёлые, ниже лопаток, и ложатся на золотую нить на плече.

Он входит наконец в комнату и подходит ко мне.

Берёт прядь у меня из-за плеча, пропускает её между пальцами и говорит, глядя не на меня, а на волосы:

— Мне нравится, когда в моём Дворе есть что-то необычное.

Я выдёргиваю прядь у него из рук.

— Я не вещь.

Он усмехается одним углом рта и отступает с дороги.

Я иду к двери. Он идёт следом.

И у самой двери у меня урчит в животе.

Тихо, но здесь слышно всё.

— Когда ты ела в последний раз? — спрашивает он.

— Не помню.

— Сутки?

— Больше.

— Здесь тебе есть нельзя, — говорит он. — Съеденное связывает: один кусок, и ты перестанешь слышать музыку, как слышат люди. Потеряешь счёт времени и через год не вспомнишь, как тебя звали. Воду можно.

Он поворачивается к женщинам, которые всё ещё стоят у стены.

— Человеческой еды, — говорит он. — В город, живо. И чтобы к её возвращению было на столе.

— Слушаемся, Повелитель, — говорит старшая и уходит, и вторая уходит за ней.

— А как? — спрашиваю я. — Как они туда войдут? У вас уши, глаза, платье. Весь Двор такой.

— Они не войдут, — говорит он. — Войдут другие.

— Какие другие?

— Те, что у меня в городе. Люди. — Он говорит это так, как объясняют, что вода мокрая. — Они покупают, я плачу. Они не знают, кому служат, и это их устраивает.

— А деньги?

— У меня старое золото. Такое берут везде и не спрашивают, откуда.

— А если спросят?

— Тогда они не пойдут второй раз. — Он открывает передо мной дверь. — Поэтому я посылаю тех, кому не надо объяснять.

Я выхожу. Он выходит за мной, и дверь закрывается сама, тихо, без стука. В коридоре пусто, и наши шаги идут вразнобой: мои чаще, его реже.

— Поешь, когда вернёмся.

— Если я не сбегу.

— Если не сбежишь, — соглашается он.

— Я не смогу тебе помочь, — говорю я. — Я ничего не запомнила.

— Ты их видела.

— Я видела белое, — говорю я. — Золото. Уши. И мужчину с моим ребёнком в руках. Лиц я не помню, они плыли, у меня в глазах всё плыло, я под наркозом была, я даже не сразу поняла, что это не врачи.

Он смотрит на меня долго, и глаза у него сужаются, как у кошки, которая прикидывает расстояние.

— Ты понимаешь, что ты сейчас сказала?

— Нет.

— Что у меня нет ни одной приметы, кроме цвета одежды, которую носит весь мой Двор.

Я молчу.

— Я правлю дольше, чем твой народ помнит себя, — говорит он, и голос у него ровный и очень тихий, и от этой ровности мне хочется отступить. — Всё это время я жду свидетеля. И свидетель не помнит лиц.

— Я не виновата, что меня накачали.

— Я не сказал, что ты виновата.

— Сказал.

Он поднимает бровь.

— Я сказал, что ты бесполезна. Это не одно и то же.

Я открываю рот, чтобы ответить, и не нахожу ответа. Пальцы у меня сжимаются на подоле, и я разжимаю их сама, по одному.

— Идём, — говорит он.

— Я не понимаю, — говорю я. — Ты Повелитель. Они тебя слушаются. Почему ты не прикажешь, чтобы нашли?

— Прикажу.

— И?

— И они будут искать так, как ищут те, кому велели, а не те, кому нужно. Поэтому искать буду я. И ты. Остальные будут делать вид.

Он ведёт меня вниз по лестнице, потом по коридору, потом ещё раз вниз, и я уже не пытаюсь запомнить дорогу: здесь её невозможно запомнить, потому что все повороты одинаковые.

Мы приходим в зал, где нет ни столов, ни ваз, ничего. Просто зал, и в нём стоят фейри.

Много. Я не считаю, но их не меньше тридцати. Все в белом с золотом, все светлые, все выстроены ровно, как на линейке, и все смотрят на нас, когда мы входим.

— Это те, кто стоял в ту ночь, — говорит Дориан. — У границы и во Дворе. Смотри.

Он отходит к стене и складывает руки на груди, и мне ясно, что смотреть придётся одной.

Я смотрю.

И ничего не узнаю.

Они все одинаковые. Я понимаю, что это глупо, что у них разные лица, рост и волосы, но сейчас, в белом, в золоте, при этом свете, они сливаются в одно длинное белое пятно, и я не могу выхватить ни одного.

Я иду вдоль строя и цепляюсь за каждое лицо, как за поручень: тонкие губы, родинка над бровью — родинка, у фейри, вот же, запомни. Потом следующее, и от него не остаётся ничего.

В горле у меня становится сухо.

— Ну? — говорит Дориан.

— Я не знаю.

— Смотри внимательнее.

Я иду вдоль строя ещё раз и в этот раз стараюсь смотреть в лицо каждому.

У первого широкие скулы и глаза светлее волос. У второго родинка на шее. У четвёртого рассечена губа, и я на секунду думаю: вот, примета. А потом понимаю, что таких шрамов, наверное, половина Двора, и что я всё равно не знаю, он ли стоял тогда в палате. У пятого ничего: ровное красивое лицо, и оно не запоминается, как не запоминается узор на обоях.

— Долго? — спрашивает Дориан.

— Не мешай.

Он не мешает.

Иду медленнее, вглядываюсь, и сердце у меня стучит где-то в горле.

— Я смотрю, — останавливаюсь. — Я их не помню. Мне было плохо, у меня всё плыло, я видела белое и уши, и всё.

Кто-то в строю — я не вижу кто — тихо вздыхает. Так, как вздыхают, когда ждали большего.

И вот этот вздох меня добивает.

— Посмотри и подумай, — говорит Дориан.

— Я не помню! — Я поворачиваюсь к нему. — Не узнаю никого. Ни одного лица, ни одной приметы. Это пустая трата времени!

Я иду к двери.

Он перехватывает меня за локоть, а другой рукой — за шею, и сжимает, крепко, до боли.

Я вскрикиваю.

— Не смей так со мной разговаривать, — говорит он сквозь зубы.

Пальцы прохладные и лежат точно, и под ними дёргается мой пульс, и воздух обрывается сразу, весь.

Он молчит. Смотрит мне в лицо, и в его жёлтых глазах нет ни злости, ни удовольствия, только внимание.

И я боюсь. Не того, что он меня убьёт. Я боюсь того, что он может, и что это ему ничего не стоит, и что все они стоят и молчат.

Мои ладони упираются ему в грудь, и я толкаю.

Он отпускает сразу.

Колени подгибаются, но я удерживаюсь на ногах; меня сгибает кашель, и я держусь за горло обеими руками, и в зале по-прежнему тихо.

— Да пошёл ты, — говорю я хрипло и иду к двери.

— Карина.

Я не оборачиваюсь. Открываю дверь и хлопаю ею так, что звенит в ушах.

Коридор. Поворот. Ещё поворот, и я слышу за спиной шаги.

Он догоняет и хватает меня за плечо, разворачивая к себе.

— Что тебе надо от меня? — кричу я ему в лицо, на весь коридор.

И чувствую, как рука на моём плече становится горячей — не тёплой, а горячей, как утюг, — и отшатываюсь.

Его глаза вспыхивают ярче. Жёлтого в них столько, что больно смотреть.

Я отхожу на пару шагов и упираюсь спиной в колонну.

Он подходит и ставит руку на колонну у моего лица сбоку.

— Поумерь свой пыл, — говорит он. — Ты не будешь так со мной разговаривать.

Я молчу.

Он опускает голову и качает ею, медленно, и видно, что он спорит с собой и проигрывает.

Дышит тяжело. Я слышу, как воздух выходит у него из груди, и вижу, как поднимается и опускается плечо, и как он сжимает и разжимает кулак.

Потом поднимает глаза, и жёлтого в них уже меньше. Он смотрит на меня.

— Я не хотел тебя пугать, — говорит он тише. — Я хочу помочь. А чтобы помочь, надо разобраться.

Рука со стены уходит, и я слышу, как у меня стучит в ушах. Он делает шаг назад.

Разворачивается — и уже через плечо:

— Идём. Я провожу тебя до комнаты.

И я иду за ним, потому что мне уже всё равно, где быть, и потому что он всё-таки ищет моего сына.

Он открывает дверь комнаты и отступает, пропуская меня первой.

Я вхожу.

Он заходит следом и прикрывает дверь — не закрывает, а прикрывает, оставляя щель на случай.

И только теперь я вижу поднос.

Он стоит на столе у окна.

Хлеб. Молоко в стеклянной бутылке с крышкой из фольги. Что-то горячее в закрытой кастрюльке, и от неё идёт пар. И ещё — я вижу краем глаза — шоколадка, обычная, в обёртке, какие продают в магазине у дома.

— Это откуда? — спрашиваю я.

— Из твоего мира, — говорит он. — Как и договаривались.

— А шоколадка?

— Я не знаю, что это. — Он берёт шоколадку со стола, поворачивает её в пальцах и читает обёртку, как написанную на языке, которого он не знает. Потом кладёт обратно. — Мне сказали, что смертные такое едят.

Я беру шоколадку.

Обёртка холодная и чуть влажная, и на ней написано по-русски.

Я отодвигаю стул — он скребёт по полу, и звук в этой комнате выходит слишком громким, — и сажусь.

Хлеб чёрствый, молоко тёплое: значит, пока мы были в зале, всё это успели принести. Кастрюлька ещё держит жар, от неё пахнет курицей.

Дориан садится в кресло у окна, откидывается и кладёт ногу на ногу. Потом, не вставая, дотягивается до бутылки, поворачивает её этикеткой к свету и читает.

— А ты ешь? — спрашиваю я, не поворачиваясь.

— Мы можем есть, — говорит он. — Но не обязаны.

— Совсем?

— Совсем. Иногда едим для удовольствия. За столом, на праздниках.

— И что?

— То же, что и ты, — говорит он. — Мясо, хлеб, вино.

— И всё?

— Всё. Только у нас на это есть время. — Он говорит спокойно. — Блюдо могут готовить три дня, и никто не торопится его съесть.

— Зачем тогда?

— Затем, что за столом смотрят друг на друга. — Еда у нас не от голода. Его у нас нет. Она от того, чтобы сесть рядом и увидеть, кто где сел.

Я откусываю ещё.

— А музыка? Я её всё время слышу.

— Внизу танцуют.

— Внизу?

— На первом этаже есть зал. Там танцуют всегда: день и ночь, круглый год.

Я оборачиваюсь.

— Можно посмотреть?

— Можно. — Он смотрит на меня. — Но танцевать нельзя.

— Почему?

— Потому что танец здесь не про шаги. — Он говорит так, как говорят о вещах простых и потому страшных. — Кто танцует, отдаёт. Немного, самую малость себя. И обратно эта малость не возвращается.

— А потом?

— А потом ею тебя и держат. — Он смотрит на меня. — Сначала незаметно. А после ты замечаешь, что не помнишь, зачем пришла.

— Я не буду танцевать, — говорю я.

— Дай слово.

— Даю. Я и ходить-то еле умею, куда мне танцевать.

Он кивает.

Я доедаю всё: хлеб, молоко до дна, кастрюльку до последней ложки. Шоколадку оставляю половину и заворачиваю в обёртку, чтобы было на утро.

Он встаёт и сам забирает поднос.

— Я скоро вернусь, — говорит он. — Никуда не выходи без меня.

— А если выйду?

— Тогда я буду искать тебя по всему дворцу. — Он говорит без угрозы. — И найду. Но мне это не понравится.

Я киваю.

Он выходит и притворяет дверь.

Я иду к кровати, снимаю туфли и ложусь поверх одеяла, прямо в платье, и натягиваю одеяло до подбородка, и смотрю в потолок, где ровный свет и золотые полосы.

Полосы не двигаются.

Кто мог его забрать?

Если бы хотели убить, не уносили бы. Убили бы на месте, в палате, и списали на что угодно: на наркоз, на кровопотерю, на ошибку врача. Никто бы и не искал.

Если бы хотели вернуть, уже вернули бы. Прошло больше суток, и мне не прислали ни записки, ни условия, ни угрозы.

Значит, он кому-то нужен живым. И не как товар: за товар давно бы назвали цену.

Значит, он нужен кому-то здесь.

И этот кто-то ходит по этим коридорам, ест за этими столами, кланяется мне в залах, и я, может быть, уже смотрела ему в лицо и не узнала.

Я переворачиваюсь на бок и подтягиваю колени.

В голове у меня всё время одно и то же: свёрток. Маленький, тяжёлый, тёплый. Я даже не знаю, какие у него глаза.

Я закрываю глаза и считаю вдохи. Раз, два.

Раз, два.

Засыпаю, и во сне я всё ещё ищу.

Просыпаюсь от того, что в комнате кто-то есть.

Дверь приоткрыта. Я не пугаюсь: думаю, это Дориан вернулся, как обещал.

Поворачиваю голову.

Это не Дориан.

Он стоит у стены, в двух шагах от кровати. Высокий, как Дориан, и широкий в плечах, в белом, как все здесь, платиновые волосы до плеч, и смотрит на меня так, как смотрят на чужую вещь.

Я сажусь.

— Кто вы?

Он смеётся — тихо, коротко, без всякого веселья.

— Смертные здесь не задерживаются, — говорит он. — Ты знала?

— Что?

— Ты можешь умереть во сне. — Он говорит это спокойно, как о погоде. — Просто перестать дышать. Мы такое видели.

Я не опускаю головы.

— Это угроза?

Он не перестаёт улыбаться. Он обходит кровать — медленно, заложив руки за спину, как обходят вещь в лавке, — и останавливается у изголовья.

— Это порядок, — говорит он. — Такие, как ты, приходят сами. Приходят и попадают в гарем Повелителя.

Он протягивает руку, чтобы коснуться моего лица.

— Не трогайте меня.

И в этот момент открывается дверь.

Дориан входит и останавливается. Смотрит сначала на меня, потом на него, и я вижу, как меняется лицо у Дориана.

— Эйдан, — говорит он.

— Дориан, — говорит гость.

— Что ты тут делаешь?

— Смотрю, — говорит Эйдан. — Оцениваю. Он кладёт ладонь на спинку кровати и наклоняется, как торговец над товаром.

Дориан подходит, и в его руке загорается свет: не огонь, а что-то белое, ровное, и от него в комнате тихо, так тихо, что слышно, как у меня стучит в ушах.

Эйдан не отходит. Он смотрит на свет, как смотрят на карманные часы: с вежливым интересом.

— Ты не станешь, — говорит он. — Ты знаешь, что не станешь. Ты пятьсот лет никого не сжёг, кроме тех, кто сам напрашивался.

Дориан молчит.

— Я хотел посмотреть, как она спит, — говорит Эйдан. Он говорит это Дориану, но смотрит на меня и улыбается мне. — Разве это запрещено? В твоём дворце всё разрешено, ты сам так говоришь.

Дориан поворачивает голову ко мне.

— Он тебя трогал?

— Нет, — говорю я. — Не успел.

— Иди, — говорит Дориан. — И больше к ней не подходи.

Эйдан идёт к двери не спеша, и у порога оборачивается.

— Она не игрушка, — говорит он. — Это я и сам вижу. Но и не твоя. — И мне, уже без улыбки: — Спи, смертная. Тебе ещё искать.

Он выходит и закрывает за собой дверь тихо, без стука.

Свет в руке Дориана гаснет, и комната снова обычная.

Дориан садится в кресло, откидывается и смотрит в окно. Потом проводит ладонью по подлокотнику и смахивает с него что-то, чего нет.

— Что он говорил?

— Что смертные здесь не задерживаются. Что я могу умереть во сне. — Я подтягиваю одеяло к груди. — Что такие, как я, попадают в гарем Повелителя.

— Что ещё?

— Что он оценивал.

Он поворачивает голову.

— Сегодня я буду рядом, — говорит он. — В этом кресле.

— А завтра?

— И завтра.

Я откидываюсь на подушки.

— Я хочу найти сына и уйти, — говорю я. — Обратно, к себе. Я не хочу здесь оставаться.

— Я знаю. — Он смотрит на меня. — Поэтому и ищу.

— Ты осталась жива потому, что у меня хороший слух, — добавляет он. — В следующий раз не жди меня. Кричи. Громче, чем в зале.

— Кого ты подозреваешь? — спрашиваю я.

Он не отвечает.

— У тебя же есть кто-то, — говорю я. — Я по лицу видела.

— Есть. — Он встаёт и подходит к окну, и я вижу, как он опирается ладонью о подоконник. — Ты знаешь, что у нас два Двора?

— Знаю.

— И что между ними война.

— Что-то такое слышала.

— Не напоминание. Не ссора. — Он говорит как о вещах, давно решённых. — Война, которая не кончается, потому что кончиться не может. Семь лет назад я пришёл к воротам Неблагого Двора с войском. У меня было право, и был повод, и были свои, которые шли за мной.

— И?

— И я ушёл от его ворот живым, но не тем, кем пришёл. — Он поворачивает голову. — На моих глазах умерла смертная, которую он держал при себе. Потом она ожила и стала такой, как он. А я ушёл, и мои это видели.

— Повелитель, который ушёл ни с чем, перестаёт быть Повелителем, — говорит он. — Поэтому мне нужно вернуть то, что у меня отняли.

— То есть меня?

— Тебя. Твоего сына. Всё, что было у меня и чего не стало.

— Значит, ты не помочь мне хочешь, — говорю я. — Ты хочешь вернуть лицо.

— Я хочу и того, и другого, — говорит он. — И одно другому не мешает.

— А что за гарем? — спрашиваю я.

Он поворачивается медленно, и в его лице что-то меняется: не злость, а интерес, как у человека, который услышал знакомую мелодию в чужом доме.

— Что?

— Гарем. — Я выбираюсь из одеяла и опускаю ноги на пол. — Этот, как его там... Эйдан. Он сказал, что такие, как я, приходят сами и попадают в твой гарем.

Он смотрит на меня и молчит, и я вижу, как у него на шее дёргается жилка.

— А тебе показать? — говорит он.

Я иду к нему босиком, и он выше меня на голову, и мне приходится запрокинуть подбородок, чтобы смотреть ему в лицо.

— Ну попробуй, — говорю я.

Он смотрит на меня сверху вниз, и от этого взгляда у меня по спине идёт холод, но я не отступаю.

— Смелая. — Он говорит тихо, почти на ухо. — Это интереснее всего, что я видел за последние сто лет.

— И не надейся, — говорю я. — Я тут только ради сына.

Он смотрит на меня ещё секунду, потом отступает и идёт к креслу.

Он садится, откидывается и смотрит на меня.

— Человеческие девушки, — говорит он. — Они пришли сами. Каждая могла уйти в любой день, и каждая осталась.

— Почему?

— Потому что там теплее, чем у вас. — Он говорит без всякого выражения. — Потому что еды вдоволь, никто не бьёт и никто не считает годы. Потому что за воротами их никто не ждал.

— А фейри?

— И фейри. Их там больше. — Он смотрит в окно. — И меня это давно не интересует.

— Совсем?

— Совсем. — Он поворачивает голову. — Было время, спал и с теми, кто не мог уйти. Теперь нет.

Я молчу и смотрю на свои руки поверх одеяла. Ногти обломаны, на ладони след от капельницы, синеватый.

— Утром смотрим записи, — говорит он.

— Мы уже смотрели.

— Мы смотрели одну строку. — Он откидывает голову на спинку кресла. — Одну запись про одну ночь. Утром будем смотреть всё: кто входил и выходил за неделю до и после, кто что брал, кто кому что должен. Стерли не только строку. Стерли того, кто её поставил.

— А как ты понимаешь, что утро? — спрашиваю я. — У вас всегда светло. Часов, я смотрю, за пятьсот лет так и не завели.

— По свету. — Он смотрит на окно. — Утром он холодный, к вечеру уходит в медный, а к ночи ровный.

— И всё?

— И по голосам. Утром внизу поют тише, как просыпаются, а к ночи громче. — Он поворачивает голову. — Ты бы тоже услышала, если бы жила здесь дольше месяца.

Я киваю.

— Ложись, — говорит он и поворачивает голову к окну.

— Ты можешь отвернуться? Мне надо раздеться.

Он усмехается.

— Раздевайся.

— Не при тебе. — Я стою на холодном полу. — Если решил остаться, будь вежлив. Отвернись.

Он встаёт и поворачивается к окну.

Платье расстёгивается на боку, и я вылезаю из него и кладу на стул, а под ним у меня бельё, тонкое, чужое, из тех, что мне дали утром. В нём я забираюсь под одеяло, и одеяло сначала холодное, а через минуту тёплое.

— Всё.

Он идёт к кровати медленно, шаг за шагом, и на губах у него улыбка, от которой хочется натянуть одеяло выше.

Ложится с другой стороны, поверх одеяла, закидывает руки за голову, и под его весом кровать проседает так, что меня тянет в его сторону.

— Нет, — говорю я. — Иди в кресло.

— Я не трону тебя. Спи.

Я отворачиваюсь к окну и натягиваю одеяло до уха.

Он смеётся в потолок.

— Заткнись, — говорю я.

Смех обрывается.

— Не говори со мной так, — говорит он ровно. — А то я перестану быть добрым.

Я молчу.

И такое чувство, что рядом легло что-то большое и уходить не собирается.

Всё за неделю

Просыпаюсь от того, что в комнате ходят.

Открываю глаза. Свет за окном белый, в нём видно, как поднимается пыль. Я лежу на боку, лицом к окну, и одеяло натянуто до уха, и во рту сухо, как в пустой бутылке.

Дориан стоит у окна.

Он в той же рубашке, в которой лёг, но волосы уже собраны на затылке ремешком, и в этом свете видно, что у него на шее, под волосами, тонкая полоска кожи светлее остальной.

Он был здесь всю ночь. Я не помню, как он встал, но помню, как ложился: кровать просела, и запах, и то, как я отворачивалась.

На столе у окна стоит поднос. Новый. Значит, кто-то заходил, а я не слышала.

— Ешь, — говорит он, не оборачиваясь. Он стоит так близко к стеклу, что дышит на него, и на стекле расходится и гаснет пятно.

Я сажусь. Одеяло падает, и я вспоминаю, что под ним у меня одно бельё, и натягиваю одеяло обратно до подбородка.

Он так и не ушёл. Стоит у окна, и на рубашке ни складки, и за ночь она не смялась.

— Как ты понял, что уже утро?

— Внизу поют по-другому.

Я слушаю. Где-то далеко, за стенами, за коридорами, идёт пение — тише, чем ночью, и медленнее, как если кто-то тянет ноту и не хочет её отпускать.

— Ты поэтому не спал? — спрашиваю я. — Слушал?

— Поэтому тоже.

Он берёт с кресла что-то светлое и бросает мне на кровать.

Платье. Голубое, тонкое, с длинным рукавом, и пахнет так, будто его только что гладили.

— Одевайся и садись есть, — говорит он.

— Отвернись.

Он усмехается — снова, как вчера, одним углом рта, — но отворачивается, и на этот раз лицом к двери.

Я вылезаю из-под одеяла и надеваю платье. Оно оказывается как раз по мне, и застёжка на боку застёгивается с первого раза.

— Готово.

Он возвращается к столу.

Поднос не похож на вчерашний. Вчера был хлеб, молоко и кастрюлька. Сегодня — две тарелки, закрытые крышками, стакан воды и опять молоко, в той же бутылке.

— А это откуда? — спрашиваю я.

— Из твоего мира. — Он снимает крышку с одной тарелки. — Каждый день кто-то будет ходить в город и приносить. Пока ты здесь.

— И ты не боишься, что я отравлюсь?

— Боюсь. — Он говорит это спокойно. — Поэтому еду носят двое, и один из них пробует сам.

Я сажусь и беру вилку. Под крышкой — каша, густая, с маслом, и от неё идёт пар, и запах такой обыкновенный, что у меня сжимается горло.

Я ем. Он стоит у стола и смотрит на меня.

— Ты будешь стоять и смотреть, как я ем?

— Нет.

Он садится в кресло, откидывается и закрывает глаза. Не спит — просто сидит, и лицо у него в этом свете проще, чем обычно: с него сняли маску.

— Ты не спал совсем, — говорю я.

— Я мало сплю.

— Совсем не спал.

— Я спал три часа. — Он не открывает глаз. — Для нас это много.

Я доедаю кашу, берусь за вторую тарелку. В ней что-то с мясом, тёмное, с подливой, и вилка его не берёт, и я ем ложкой.

— Я не знаю, что это, — говорю я.

— И я не знаю. — Он открывает глаза. — Мне сказали, что смертные это едят. Если не станешь, скажу, чтобы принесли другое.

— Стану.

Он кивает и снова закрывает глаза.

И я вдруг понимаю, что за всё время, что я здесь, это первый раз, когда он при мне просто сидит и ничего не делает. Никакой ровности, никакого «Карина» таким голосом, от которого хочется отступить. Просто усталый фейри в кресле, у которого собраны волосы и который не спал ночь, потому что в его дворце кто-то ходит по чужим комнатам.

— Дориан.

— Да.

— Тот, ночью. Ты его знал?

Он открывает глаза.

— Знал.

— И просто отпустил?

— Отпустил. — Он садится ровнее. — Он вошёл в комнату, где спит моя гостья, и ушёл на своих ногах. Такого я не видел пятьсот лет.

Я отставляю тарелку.

— И что это значит?

— Что он не прячется. — Он смотрит в окно. — Те, кто прячется, бегут. А он пришёл показаться.

— И его ты ищешь в книге записей? В той, где стёрли мою ночь?

— В ней. — Он встаёт. — Только смотреть буду не одну строку, а всё, что было за неделю до и после. Кто входил, кто выходил, кто что брал.

Он берёт со стола молоко, откручивает фольгу, нюхает и ставит передо мной.

— Пей и идём.

Пить не хочется. Молоко холодное, и от него во рту остаётся металлический привкус, но он стоит и ждёт, пока я допью, и я допиваю.

Он открывает дверь и пропускает меня вперёд.

Коридор, лестница, ещё коридор, где нет ни окон, ни ковров, только белый камень и свет, идущий из стен. В этом свете наши тени идут рядом и не касаются.

Вторые сутки я здесь, и до сих пор не научилась понимать этот Двор. Здесь всё одинаковое: повороты, двери, лица. Один раз я попробовала считать повороты и сбилась на восьмом.

Но зал я узнаю, ещё не дойдя: перед дверью стоит фейри в белом, и, увидев Дориана, отступает к стене и кланяется так низко, что волосы падают ему на лицо.

— Книги за неделю, — говорит Дориан, не останавливаясь. — Все. И журнал выдачи.

Зал длинный, и в нём пахнет бумагой, воском и чем-то сухим, как в старой библиотеке. Вдоль стен полки до потолка, на полках книги в белых переплётах, ровные, как кирпичи.

Писарь раскладывает перед нами четыре книги, придвигает два стула и отступает. Дориан садится, и я сажусь с краю.

Дориан открывает первую, находит нужный день и ведёт по строкам пальцем.

— Вот моя ночь, — говорит он.

Я смотрю. Строки идут ряд за рядом, буква за буквой, и вдруг обрываются, и дальше белое поле, и потом снова буквы.

— Три часа, — говорит он. — Ни входа, ни выхода. Никто не входил, никто не выходил.

— И это моя ночь.

— Это твоя ночь.

Он придвигает вторую книгу, потом третью. Листает, находит, откладывает. И в каждой свой провал: три часа, четыре, два, и в каждом провале ни имени, ни двери, ни шага.

— Это не одна ночь, — говорю я.

Он поднимает голову.

— Что?

— Ты сказал, стёрли одну строку. — Я показываю на книги. — А тут стёрто везде. Не одна ночь, а много.

Он молчит, и я вижу, как у него на скуле двигается желвак.

— Да, — говорит он. — Уже не одна.

— Значит, похищение — не всё. — Я откидываюсь на спинку стула. — Тут кто-то живёт и ходит через эти книги, как через свою дверь.

— Живёт здесь, — повторяет он. — Или приходит.

Дверь открывается, и писарь вносит ещё две книги и тонкую тетрадь в тёмном переплёте.

— Журнал выдачи, Повелитель.

Дориан берёт его и открывает. Сначала читает быстро, потом медленнее, потом возвращается на строку назад и перечитывает.

— Кто брал книги за ту неделю? — спрашивает он.

— Я, Повелитель. И ещё трое.

— Имена.

Писарь называет. Первое имя мне ничего не говорит, второе тоже. На третьем Дориан перебивает:

— Довольно.

— Но, Повелитель, я только называю, кто записан.

— Я сказал довольно.

Тишина. Писарь стоит с открытым ртом, и в этой тишине слышно, как он сглатывает.

— Выйди, — говорит Дориан.

Он выходит.

Я смотрю на Дориана и вижу то, чего не видела ни в зале, ни в коридоре, ни ночью: он не злится. Он испугался.

— Третье имя, — говорю я. — Кто это?

Он закрывает тетрадь и кладёт на неё ладонь.

— Тот, кого я знаю дольше, чем стоит этот Двор.

— Это имя или загадка?

— Это Эйдан. — Он произносит имя так, что оно кажется тяжелее всех книг в зале. — Тот, что стоял у твоей кровати ночью.

Он молчит секунду.

— Он пришёл, когда здесь ещё не было стен. Он ставил первые записи. Он учил меня их читать.

— Тот, ночью, — говорю я. — Который про гарем.

— Он.

— И ты его подозреваешь.

— Я его проверю.

Он выходит так быстро, что я догоняю его только на лестнице.

Мы идём вверх, потом по галерее, где за стеклом стоит сад, зелёный, слишком зелёный для мая, и в нём кто-то ходит с ножницами, и слышно, как щёлкает железо. Дориан идёт быстрее обычного, и я почти бегу.

— Если он тебе что-нибудь скажет, — говорит он, не оборачиваясь, — не отвечай.

— Почему?

— Потому что он старый и умеет говорить так, что ответ выходит сам.

Эйдан сидит в комнате, где нет ничего, кроме стола, двух стульев и окна. Здесь его видно целиком: молодое лицо, платиновые волосы до плеч, светло-серые глаза, и по нему не скажешь, что он старше всех, кто здесь есть. Разве что по тому, как он не спешит встать, когда входят. Перед ним раскрыта книга, и он держит палец на строке, как держат место, из которого не хочется выходить. Только воздух вокруг него другой, как в комнате, где на градус теплее.

Он встаёт и кланяется.

— Повелитель.

— Садись.

Он садится. Дориан остаётся на ногах, и Эйдан, уже севший, смотрит на него снизу вверх, и это ему нисколько не мешает.

— Ты брал книги на той неделе.

— Брал.

— Зачем?

— Сверял долги. — Эйдан закрывает книгу и кладёт на неё ладонь. — Двор живёт на долгах, Повелитель. Кто-то должен их сверять.

— И что ты нашёл?

— Что смертная, которая пришла, нигде не записана должницей. — Он поворачивает голову ко мне и прищуривается, будто я сижу дальше, чем есть. — Ни в одной книге. Ни одной строки.

Дориан молчит.

— Это неправильно, — говорит Эйдан.

— Это моё дело.

— Это дело Двора. — Он говорит всё так же спокойно. — Она пришла за ребёнком. А ребёнка в книге тоже нет. Имени нет — значит, и искать его будет некому.

В комнате тихо.

— Ты знал, что ребёнка украдут, — говорит Дориан.

— Я знал, что его можно взять. — Он улыбается, коротко и без всякого тепла. — Это не одно и то же.

— И никому не сказал.

— Я говорю тебе сейчас. — Эйдан снова смотрит на меня. — Ты не сможешь взыскать, потому что тебе нечем. Ты не записана. Если твоего сына нет в книге, значит, для Двора его и не было. Тебя тоже нет.

Я не сразу понимаю. Потом понимаю.

— То есть меня здесь как бы нет.

— По книгам нет.

— И поэтому меня можно не искать.

— И поэтому тебя можно не искать.

Эйдан не отводит от меня глаз и не перестаёт улыбаться, и мне кажется, что он смотрит не на меня, а в меня.

Дориан делает шаг и встаёт между нами.

— Довольно. — Голос у него тихий. — Ты сказал ей больше, чем нужно.

Эйдан смеётся. Не коротко и не зло, а в голос, откинув голову, будто ему рассказали хорошую шутку.

— Ей нужно было услышать. — Он встаёт не сразу: сначала кладёт ладонь на стол, потом поднимается. — Ты бы не сказал.

Он выходит, и дверь за ним закрывается сама, без стука.

Я стою, и у меня звенит в ушах.

— По книгам меня нет, — говорю я.

— Я найду его и без книг.

— Как?

— По-другому.

Он смотрит на меня секунду, потом разворачивается и идёт к двери.

И почему-то мне хочется сказать что-то нормальное, человеческое, и оно выходит само, раньше, чем я успеваю подумать:

— Спасибо. За то, что ищешь.

Он замирает.

Я вижу, как меняется его лицо: не злость, не радость, а что-то среднее, как у того, кто поймал на лету монету.

— Что ты сказала?

— Ничего.

— Ты сказала «спасибо». — Он говорит очень тихо. — Мне.

— И что?

— Ты знаешь, что это значит?

— Забыла, — говорю я. И это правда.

— Это значит, что ты моя должница. — Он смотрит на меня сверху, и в глазах у него нет ни торжества, ни насмешки. — Одно слово. Теперь ты мне должна.

Я молчу.

— Я не потребую, — говорит он. — Сегодня.

Он выходит первым, и я иду за ним.

Коридор пустой и гулкий. Дориан идёт быстро, и я не догоняю, а иду в двух шагах за его спиной.

— Ты злишься, — говорю я.

— Нет.

— Ты идёшь так, что видно: злишься.

Он останавливается.

— Я не на тебя. — Он проводит ладонью по лицу, сверху вниз, и на секунду становится старше.

Мы стоим в коридоре, и мимо нас проходит служанка с бельём, и кланяется, и идёт дальше, и её шаги затихают.

— Что теперь будет? — спрашиваю я.

— Ничего. — Он поворачивается ко мне. — Слово сказано, и оно услышано. Теперь я могу потребовать долг в любой день. Ты — нет.

— И что ты потребуешь?

— Не решил.

— А если я скажу ещё раз?

— Тогда будет два. — Он говорит без улыбки. — Потом три. Так это и работает, Карина. По одному слову.

Я молчу.

— Мне не нравится, что ты сказала это мне, — говорит он вдруг. — Не потому, что я тебе что-то дал. А потому, что я встал между вами.

— И что?

— За это не благодарят. Это моя работа.

Он идёт дальше, и я иду за ним, и в этот раз мы идём в шаг.

— А Эйдан? — спрашиваю я.

— Что Эйдан?

— Он будет ходить по этому Двору, как ходил.

— Будет.

— И ты ничего не сделаешь?

— Сделаю. — Он не оборачивается. — Но не так, как тебе хочется. И не сегодня.

Мы доходим до моей двери, и он останавливается и берётся за ручку.

— И ещё. — Он смотрит на меня. — Если Эйдан с тобой заговорит, не отвечай и уходи. И скажи мне.

— Думаешь, он…

— Я ничего не думаю. — Он открывает дверь. — Я прошу.

Это слово не похоже на всё, что он говорил до сих пор, и я не сразу понимаю, что в нём не так.

Он просит. Не велит, не приказывает — просит.

— Хорошо, — говорю я.

Он кивает и уходит, и я остаюсь в комнате наедине со сказанным словом, которое теперь стоит дороже всего, что у меня есть.

* * *

К вечеру я не выдерживаю.

В комнате нельзя сидеть. Здесь всё белое — стены, свет, тишина, — и в этой тишине у меня в голове крутится одно и то же: «по книгам тебя нет».

Дверь не заперта. Я выхожу одна и иду, куда иду, и никто меня не останавливает.

Я иду по коридору, потом по галерее, где окна в сад.

Эйдан стоит у окна.

Он не оборачивается, и я думаю, что можно уйти, пока он не заметил. Он стоит, заложив руки за спину, и покачивается с носка на пятку, как человек, которому надоело ждать.

— По книгам тебя нет, — говорит он, — а ходишь ты громко.

Я не отвечаю. Я обещала.

— Я не собираюсь тебя пугать. — Он поворачивается и отходит от окна на шаг, и в этом свете видно, какие у него светло-серые глаза, почти как стены. — Я хотел посмотреть на тебя в свете.

Он смотрит долго, и от этого взгляда у меня холодеет затылок.

— Ты была в моей комнате и ни разу не опустила глаз. — В голосе у него нет насмешки, только интерес, как у человека, который нашёл на дороге что-то незнакомое. — Это редкость. Все опускают. Я старый, и все думают, что мне надо что-то объяснить.

Я иду мимо.

— Тебя нет в книгах, — говорит он мне в спину. — Значит, тебя можно не только взять.

Я останавливаюсь, хотя не должна.

— Тебя можно записать. — Он говорит спокойно, как о погоде. — Одна строка, и ты есть. С именем, с долгом, со всем.

Я молчу.

— Подумай, — говорит он. — Это предложение.

Он идёт дальше по галерее, и я стою и смотрю ему в спину, пока он не сворачивает за угол.

Потом возвращаюсь к себе.

На столе остывает ужин. Я сажусь на кровать и смотрю на него и не могу вспомнить, что мне принесли.

Сказать Дориану?

Я обещала. Я сказала «хорошо», и это тоже слово, и оно в этом дворце тоже что-то значит.

Но если я скажу, он пойдёт к Эйдану. И Эйдан поймёт, кто сказал.

Я ложусь и натягиваю одеяло до подбородка.

Утром, решаю я. Утром скажу, и он сделает то, что делает.

Дверь открывается поздно, когда свет за стеклом ушёл в медный. Он входит тихо, но я слышу, и не поворачиваюсь, и дышу ровно, как спящая.

Он стоит у кровати. Потом идёт к креслу и садится, и я слышу, как скрипит кресло.

Я не сплю.

Всю ночь я лежу и слушаю, как в саду шумит листва, и как где-то далеко, внизу, поют, и как к пению прибавляется ещё один голос, а потом ещё один.

Заснуть не получается: как только закрываю глаза, я вижу галерею и его спину и слышу «тебя можно записать».

* * *

Ночь проходит, и свет на потолке снова белый. Я так и не сомкнула глаз и всё ещё лежу, глядя в потолок, когда стучат в дверь.

Стучат три раза.

Дориан поднимается с кресла и идёт открывать. За дверью фейри в белом с папкой под мышкой.

— Список готов, — говорит он и подаёт папку.

— Собирай их в зале, — говорит Дориан. — Всех, кто был во дворце в ту ночь. — И закрывает дверь у него перед носом.

Он поворачивается ко мне.

— Кого? — спрашиваю я, приподнимаясь на локтях.

— Тех, кто ходил по этому дворцу в ту ночь.

Я сажусь и подтягиваю одеяло.

— Он подходил ко мне вчера.

Дориан замирает и поднимает на меня глаза.

— Кто?

— Эйдан.

Он подходит к кровати и встаёт так, что мне приходится смотреть на него снизу.

— Где?

— В галерее, у окон. — Я говорю тихо. — Он сказал, что по книгам меня нет. И что меня можно записать.

— Что ещё?

— Что это предложение.

Дориан молчит, и лицо у него такое, что я отодвигаюсь к спинке кровати.

— Почему ты не сказала вчера? — говорит он наконец.

— Не знала, как.

— Знала. — Он смотрит на меня. — Ты испугалась, что я пойду к нему.

Я молчу.

— Испугалась, — говорит он за меня.

— Да.

Он подходит к окну и стоит спиной, и я вижу, как у него сжимается и разжимается кулак.

— Хорошо, что сказала, — говорит он. — Плохо, что не вчера.

— Что теперь?

— Теперь он под наблюдением. — Дориан поворачивается. — Двое будут ходить за ним, куда бы он ни пошёл, и он это увидит. И ещё двое будут ходить за тобой.

— Мне не нужны двое.

— Мне тоже не нужны, — говорит он, и угол рта у него дёргается. — А он старый.

Он бросает папку на стол.

— Ешь и собирайся. Сегодня я покажу тебе тех, кто был в списке.

— И Эйдана?

— И его, — говорит он. — Он будет стоять там же, где все.

Собираюсь я быстро. За ночь на стул положили ещё два платья, белое и серое, но я остаюсь в голубом, потому что оно уже моё.

Мы идём вниз, и по дороге к нам присоединяются двое: не рядом, а в двух шагах за спиной, и я слышу их шаги всю дорогу.

В зале, где вчера стояли фейри в белом, сегодня стоят не только они. Вдоль стены — стол, за столом писарь с книгой, и перед столом длинная очередь: кто-то в белом, кто-то в сером, кто-то в бледно-золотом, и все они ждут, пока их запишут.

— Кто это? — спрашиваю я.

— Те, кто был во дворце в ту ночь. — Дориан идёт вдоль очереди. — Каждый назовёт, где он был и кто его видел. Кто не назовёт — останется здесь до утра.

— А их много.

— Больше, чем я думал.

Я иду за ним и смотрю в лица. Их десятки, и они разные: старые и молодые, красивые и не очень, и у каждого, когда он проходит, появляется одинаковое выражение, как у тех, кто внутри быстро считает.

— Их нельзя всех проверить, — говорю я.

— Можно. — Он не поворачивается. — Вопрос в том, сколько это займёт.

Мы доходим до конца очереди, и я ловлю себя на том, что всё время ищу глазами светлые волосы и светло-серые глаза.

И не нахожу.

— Дориан.

— Что.

— Его здесь нет.

Он останавливается и оглядывается, и я вижу, как он считает — быстро, по головам, как считают в строю.

— Его здесь нет, — говорит он.

Писарь за столом поднимает голову.

— Эйдана, Повелитель? — Писарь смотрит в книгу. — Его здесь нет.

— Я знаю, что его нет.

Писарь молчит.

— Видел его?

— Нет, Повелитель. — Он опускает глаза к столу. — Я записываю тех, кто входит. А его в книге нет, значит, и входить было некому.

— А дверь?

— Дверь утром стояла открытой, — говорит писарь. — Я подумал, ветер.

Дориан молчит, и в зале тихо, так тихо, что слышно, как перо писаря скребёт по бумаге.

— Закрыть ворота, — говорит он. — Никого не выпускать.

Голос он не повышает, но писарь вскакивает так, что книга слетает со стола.

Мы идём к его комнате.

Дверь открыта, и внутри пусто так, как бывает только в комнатах, из которых ушли насовсем. Стол, два стула, окно. На столе книга — тонкая, в тёмном переплёте, раскрытая на середине.

Дориан обходит стол, заглядывает под него, отодвигает стул носком сапога. Потом берёт книгу и читает стоя.

— Что там? — спрашиваю я.

Он не отвечает.

— Дориан.

— Здесь есть строка, которой вчера не было. — Он поворачивает книгу ко мне. — Записана сегодня, до рассвета.

Я смотрю. Почерк мелкий, без нажима, и в строке всего два слова.

Карина. Долг.

— Что это значит?

— Это значит, что он тебя записал.

— Куда записал?

— В книгу. — Он закрывает её и держит в руке, и я вижу, как у него побелели костяшки. — Он вписал тебя в Двор. Теперь ты есть.

— Я и была.

— Не для Двора. — Он поднимает на меня глаза. — Для Двора ты теперь должница. Не моя — его.

— Он ведь ушёл.

— Ушёл.

— Тогда почему его долг?

— Потому что строку поставил он. — Дориан смотрит на меня. — Долг держится не за тем, кто рядом. Он может быть за морем, а ты всё равно его.

— И что теперь?

— Теперь он держит тебя не за руку, а за долг. — Он кладёт книгу под мышку. — Пока долг не уплачен, ты его.

— Я не хочу быть его.

— Никто не хочет.

— А если я заплачу?

— Тебе нечем. — Он идёт к двери. — У тебя ничего нет. У тебя даже имени в книге не было, пока он не написал.

— То есть он дал мне то, чего у меня не было, — говорю я медленно, — и этим сделал должницей.

Дориан останавливается в дверях.

— Да, — говорит он. — Он подарил тебе тебя. И теперь ты его.

Он выходит и запирает дверь ключом, которого я у него раньше не видела, и отдаёт ключ одному из тех двоих, что идут за нами.

— Пока он не найдётся, сюда никто не войдёт.

Мы идём по коридору, и я слышу только свои шаги и его.

«Ты его». Не «должница», не «под записью» — «ты его». И я всю дорогу думаю не о сыне, а о том, как это слово вышло у него изо рта, и мне становится страшно.

Он доводит меня до двери и не уходит.

Садится в кресло у окна, откидывается и закрывает глаза.

Я закрываю дверь, сажусь на кровать не снимая платья и смотрю в окно, где сад стоит зелёный, как если бы в нём ничего не случилось.

— Что теперь? — спрашиваю я.

Он открывает глаза.

— Теперь ищем Эйдана.

— А если не найдём?

— Найдём. — Он смотрит в потолок. — Он ушёл не для того, чтобы спрятаться. Он ушёл, чтобы я искал.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что он оставил книгу открытой. — Дориан закрывает глаза. — Он хотел, чтобы её прочитали.

Кто знает

Третий день поисков начинается с того, что я просыпаюсь одна.

Кресло у окна пустое, и в нём лежит только подушка, смятая с одного края, и поднос на столе стоит нетронутый: каша, молоко, что-то под крышкой — и всё это уже остыло.

Я одеваюсь и выхо

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.